

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

КЛАССИКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



РОБЕРТ МУЗИЛ

1880-1942

Роберт Музиль

Человек без свойств

Том второй

Главы 87-123

ФТМ

УДК 82/821
ББК 84(0)

Перевод с немецкого С. Апта

Музиль, Р.

Человек без свойств. Том 2: Роман / Р. Музиль; [пер. с нем. Апт К. С.] . – М. : Т8 RUGRAM / Агентство ФТМ, 2020. – 404 с. – (Легендарные книги литагентства ФТМ).

Самый известный роман австрийского писателя, драматурга и эссеиста Роберта Музиля (1880–1942) «Человек без свойств» так и не был закончен, и несмотря на это, роман стал важнейшей вехой в истории немецкой литературы XX века, встав рядом с лучшими произведениями Томаса Манна, Стефана Цвейга и Лиона Фейхтвангера. Главный герой романа Ульрих, столкнувшись с «невероятным одиночеством человека в пустыне мелочей», старается отгородиться от «блеска и нищеты» внешнего мира с помощью своего «эго». И история его жизни становится, по сути, кропотливым исследованием души современного человека, не утратившего способности мечтать и быть готовым к непредсказуемым последствиям, становящимся его судьбой. Во второй том вошли главы с 87 по 123.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

УДК 82/821
ББК 84(0)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-74619-4

© Т8 RUGRAM, 2020
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020
© Перевод, С. К. Апт, наследники, 2020

Моосбругер пляшет

Тем временем Моосбругер все еще сидел в камере для подсудимых окружного суда. Его адвокат получил новую поддержку и всю старался в инстанциях не дать подвести черту под делом так скоро.

Моосбругер улыбался по этому поводу. Он улыбался от скуки.

Скука убаюкивала его мысли. Обычно-то она их гасит; но его мысли она убаюкивала; на сей раз это было такое состояние, как когда актер сидит у себя в уборной и ждет выхода.

Будь у Моосбругера большая сабля, он бы сейчас взял ее и отрубил голову стулу. Он отрубил бы голову столу и окну, параше и двери. Потом ко всему, что он обезглавил, он приставил бы собственную голову, ибо в этой камере имелась лишь его собственная голова, и это было хорошо. Он мог себе представить ее надетой на эти предметы, с широким черепом, с волосами, которые, как мех, сбегали с макушки на лоб. Тогда эти предметы ему нравились.

Если бы только камера была побольше и еда получше! Он был рад, что не мог видеть людей. Выносить людей ему было трудно. У них часто бывала манера так сплевывать или пожимать плечами, что не оставалось никакой надежды и хотелось стукнуть их кулаком в спину, да так, словно надо было пробить дыру в стене. Моосбругер верил не в Бога, а в собственный разум. Вечные истины носили у него презрительные наименования: суд, поп, жандарм. Он должен был делать свое дело один, а в таких случаях часто создается впечатление, что все ставят тебе

палки в колеса! Он видел перед собой то, что видел часто: чернильницы, зеленое сукно, карандаши; затем портрет императора на стене и как они все сидели; в его расстановке это представлялось ему капканом, прикрытым, вместо травы и листьев, чувством, что так надо. Затем ему обычно приходило на ум, как на воле стоит куст у излучины реки, приходили на ум скрип колодца, смешавшиеся части ландшафтов, бесконечный запас воспоминаний, о которых он вовсе не знал, что они когда-то были ему приятны. И он мечтал: «Я мог бы вам кое-что рассказать!» Как мечтает молодой человек. А этого молодого человека так часто сажали в тюрьму, что он совсем не старел. «Надо будет мне в следующий раз рассмотреть это получше, — думал Моосбругер, — а то ведь они меня не поймут». А потом он сурово улыбался и говорил о себе с судьями как отец, который говорит о своем сыне: он никуда не годится, засудите его как следует, может быть, он тогда возьмет себя в руки!

Конечно, его теперь иногда злили тюремные порядки. Или у него что-нибудь болело. Но тогда он мог потребовать, чтобы его отвели к тюремному врачу или к директору, и все опять приходило в какой-то порядок и успокаивалось, как вода наддохлой крысой, упавшей в нее. Представлял он себе это, правда, не в таком именно виде, но ощущение, что он простерся, как большая, блестящая вода, — оно было у него теперь почти все время, хотя слов для этого у него не было.

Слова у него были такие: гм-гм, так-так. Стол был Моосбругером.

Стул был Моосбругером.

Окно с решеткой и запертая дверь были им самим.

Он вовсе не находил это безумным и необычным. Просто не стало резиновых тесемок. Позади каждой вещи или твари, когда она хочет вплотную приблизиться к другой, есть резин-

ка, которая натягивается. А то бы вещи стали проходить друг через друга. И в каждом движении есть резинка, мешающая человеку сделать целиком то, что ему хочется. И вот этих резинок вдруг не стало. Или не стало только стесняющего чувства как бы от резинок?

Наверно, так уж точно различить это нельзя. «Например, у женщин чулки держатся на резинках. Вот в чем штука! — думал Моосбругер. — Они носят как амулет резинки, охватывающие бедро. Под юбками. Как кольца, которые малюют на фруктовых деревьях, чтобы черви не лезли вверх».

Но это лишь так, к слову. Чтобы не думали, что у Моосбругера была потребность называть всех и вся братьями. Он был как раз не таков. Он просто был внутри и снаружи.

Он теперь всем владел и на все покрикивал. Он все приводил в порядок до того, как его убьют. Он мог думать о чем угодно, оно сразу же делалось покорным, как хорошо натасканная собака, которой говорят «Куш!». У него, хотя его засадили в тюрьму, было огромное чувство власти.

Вовремя подавали суп. Вовремя будили и водили гулять. Все в камере совершалось строго вовремя и неукоснительно. Иногда это казалось ему просто невероятным. У него было странно превратное впечатление, что этот порядок идет от него, хотя он и знал, что порядок этот ему навязан.

У других людей бывают такие ощущения, когда они летом лежат в тени изгороди, пчелы жужжат, маленькое и четкое солнце ползет по молочному небу; мир вертится тогда, как механизм курантов, вокруг таких людей. Моосбругеру достаточно было для этого геометрического зрелища, какое являла его камера.

Он замечал при этом, что, как сумасшедший, тоскует о хорошей еде; он мечтал о ней, и средь бела дня перед взором его

с почти жутким упорством возникали очертания хорошей порции жареной свинины, как только мысли его, покончив с другими занятиями, возвращались назад. «Две порции! — приказывал тогда Моосбругер. — Или три!» Он думал об этом с такой силой и так жадно увеличивая эту воображаемую картину, что мгновенно чувствовал пресыщение и тошноту, мысленно обжирался. «Почему, — размышлял он, качая головой, — за охотой поест так скоро приходит страх, что ты вот-вот лопнешь?» Между едой и страхом лопнуть лежат все радости мира; ах, что за мир, на сотне примеров можно доказать, как узко это пространство! Вот только один из них. Женщина, когда она не твоя, такая, словно ночью луна поднимается все выше и выше и сосет, и сосет сердце; а когда она была твоей, хочется топтать ее лицо сапогом. Почему это так? Он вспомнил, что его часто об этом спрашивали. Можно было, значит, ответить, что женщины — это женщины и мужчины, потому что мужчины за ними гонятся. Но и этого те, кто его спрашивал, толком не понимали. Они хотели знать, почему он воображает, что люди в заговоре против него. Как будто даже его собственное тело не было с ними в заговоре! В отношении женщин это ведь яснее ясного. Но и с мужчинами тело его лучше находило общий язык, чем он сам; одно слово тянет за собой другое, известно, как полагается вести себя, крутишься день-деньской друг возле друга и, глядь, в один миг оказываешься за пределами той узкой полоски, где неопасно общаться друг с другом; но если это навлекает на него его тело, то пусть бы оно и освобождало его от этого! Насколько Моосбругер помнил, он всегда сердился или боялся, и его грудь с руками бросалась вперед, как большой пес, которому так велели. Больше этого не понимал и сам Моосбругер; то-то и оно, что пространство между дружелюбием и пресыщенностью узко, а

уж когда дело на то пойдет, оно быстро становится узким до ужаса.

Он очень хорошо помнил, что люди, умеющие объясняться иностранными словами и постоянно восседавшие над ним в суде, часто говорили ему в укор: «Но ведь из-за этого не убивают же человека на месте?!» Моосбругер пожимал плечами. Людей убивали, случалось, из-за нескольких крейцеров или ни за что, потому что кому-то так вздумалось. Но он держал себя в руках, он был не из таких. Упрек этот со временем стал задевать его за живое; он рад был бы узнать, отчего ему время от времени становилось до того тесно или как там это назвать, что он должен был силой освобождать себе место, чтобы кровь отлила у него от головы. Он размышлял. Но разве и с размышлением дело не обстояло именно так же? Когда начиналось хорошее для этого время, хотелось только улыбаться от удовольствия. Тогда мысли уже не гудели в башке, тогда оставалась вдруг одна-единственная мысль. Разница была так же велика, как между хныканьем младенца и плясом красивой бабы. Просто как колдовство. Играет гармошка, свеча стоит на столе, бабочки налетают из летней ночи — так теперь все мысли падали в свет одной, или Моосбругер хватал их, когда они подлетали, своими большими пальцами и раздавливал, и между его пальцами они миг-другой были странно похожи на каких-то дракончиков. Капля моосбругеровской крови упала в мир. Этого нельзя было видеть, потому что было темно, но он чувствовал, что происходило в невидимом. Запутанное выравнивалось там, снаружи. Всклоченное сглаживалось. Беззвучный танец сменял невыносимое жужжанье, которым его обычно донимал мир. Все, что происходило, было теперь красиво; так становится красивой некрасивая девка, когда она не стоит одна, а, взявшись с другими за руки, кружится в хороводе и

лицо поднимается лестницей, откуда глядят вниз уже другие. Это было поразительно, и как только Моосбругер открывал глаза и смотрел на людей, случавшихся поблизости в такую минуту, когда все повиновалось ему, отплясывая, они тоже казались ему красивыми. Тогда они не были в заговоре против него, не составляли стены, и оказывалось, что искажала лицо людей и вещей, как бремя, только потуга его перещеголять. И тогда Моосбругер плясал перед ними. Плясал с достоинством, невидимо, он, который в жизни ни с кем не плясал, плясал, повинуюсь музыке, все более превращавшейся в самоуглубление и сон, в лоно Богоматери и наконец в покой самого Бога, в дивно невероятное и смертельно раскованное состояние; плясал целыми днями, не видимый никем, пока все не выходило из него наружу, не прилеплялось к вещам, ломкое и тонкое, как паутина, прихваченная морозом.

Не изведав вместе с ним этого, как же можно судить обо всем другом?! За легкими днями и неделями, когда Моосбругер почти вылезал из своей кожи, снова и снова приходили долгие времена заточения. Государственные тюрьмы были ничто в сравнении с этим. Когда он в такие времена пытался думать, все сжималось в нем, горькое и пустое. Рабочие клубы и просветительные кружки, где ему хотели сказать, как надлежит ему думать, он ненавидел, помня, какими гигантскими, словно на ходулях, шагами могли в нем двигаться мысли! Тогда он тащился по миру на налитых свинцом ногах, надеясь найти такое место, где снова все будет иначе.

Сегодня он только снисходительно улыбался, вспоминая об этой надежде. Ему так и не удалось найти ту середину между своими двумя состояниями, где он, может быть, и остался бы. С него было довольно. Он величественно улыбался приближавшейся смерти.